

ПУШКИНСКИЙ УРОК

# ДОМОВОЙ

СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ ГЕЙЧЕНКО:  
ПИСЬМА И РАЗГОВОРЫ

# ПУШКИНСКИЙ УРОК



**ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ**

## **ДОМОВОЙ**

**СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ ГЕЙЧЕНКО:  
ПИСЬМА И РАЗГОВОРЫ**

Псков  
1996

ББК 83.3(2)  
К 93

Валентин Курбатов

ДОМОВОЙ

*Семен Степанович Гейченко. Письма и разговоры.  
Серия «Пушкинский урок»*

Под редакцией В. А. Сапогова

Художник А. Г. Стройло

© Издательство Псковского областного института  
усовершенствования учителей

Надо ли напоминать, кто был такой Семен Степанович Гейченко даже самому далекому от культуры человеку не в одной Псковской земле, а и во всей России? Во всяком случае читателю книжки серии «Пушкинский урок», хоть раз бывавшему в Михайловском, вероятно, нет. И все-таки, чтобы читателю не тратить время на разбег, напомним.

Семен Степанович Гейченко с 1945 по 1993 год бессменный директор Пушкинского Заповедника в Михайловском, первый среди музейных работников Герой Социалистического труда, автор несколько раз переиздаваемой и все не могущей утолить спроса книги «У Лукоморья», драгоценного альбома «Пушкиногорье» и доброй учительной книги «Завет внуку», инициатор Всесоюзных, а потом Всероссийских Пушкинских праздников, настоящая музейная легенда, гордость русской культуры, душа Пушкинского Михайловского, добрый «домовой», который подлинно без двух лет столетия хранил «селенье, лес и дикой садик» поэта, сделав Пушкинский Заповедник одним из лучших, чтобы не сказать лучшим литературным музеем страны.

Остальное - в этой книжке...

И возвратился б оживленный  
картиной беззаботных дней...

*А. С. Пушкин.*

Ветер шумит в кладбищенских березах Воронича так же свежо и весело, как в дубах Тригорского, елях Михайловского, липах Петровского, и бедный пепельно легкий деревянный крест на могиле С. С. Гейченко так непривычен в этой выси и дали под ветром, что ему не хочется верить. Неужели смерть могла остановить и эту летящую молодую ненасытную жизнь? Сам он не верил этому до смертного часа и поэтому трудная болезнь последних месяцев была невыносима, но естественна и закономерна. Он не мог умереть легко, потому что жил «всегда». История вошла в его кровь и снесла привычные границы возраста. Он часто вспоминал такие подробности жизни императорских дворов XVIII и XIX веков, которые мог знать единственно очевидец.

И это было естественно и убедительно, потому что он и в воспоминаниях жил в осязательной полноте быта. Воспитанный в околдворцовом быте дореволюционного Петергофа, он после революции с дипломом Петроградского университета вошел в сами эти дворцы смотрителем, когда все еще было «теплым» после едва вышедших хозяев и успел узнать всех царских лакеев и выведать их особенное значение государева дома, а с легкой руки и по благоволению царского повара Ивана Петровича Семечкина смог оценить и тонкости императорской кухни.

Может быть, нынешнему чувствительному к тонкостям воспитания вкусу /откуда только тонкость-то и взялась?/, покажется странно и смущающе, что дворцовый смотритель и за всеми столами посидел, и все мундиры перемерил, и царские

парики и ордена поносил и даже вот о дворцовых «ретирадах» мог симпровизировать опущенную предшествующими историками быта главу, из которой было ясно, что и в тех уединенных местах государи оказывались вполне «самобытным» и согласными с вкусами века. Да и сам он, вероятно, тогда и помыслить не мог, как отзовется это «вещественное» зрение на склоне жизни, как ставшая кровью история будет бороться в нем со стареющей плотью. Но эта внешне странная и напрасная школа оказалась незаменима в формировании его музейного дара, которому без сомнения нет и похоже, уже не будет аналогов. Уже тут, несмотря на неприязнь современных специалистов к такому музееведению, его вела судьба и ясно и навсегда определившееся призвание.

Потом было все в соответствии с профессией и временем: Русский музей, Пушкинский Дом Академии наук, аспирантура Академии художеств, лагерь, Волховский фронт и, наконец, совершилось то, что должно было совершиться, к чему судьба определила и неуклонно вела его - в апреле 1945 года Семен Степанович Гейченко был назначен директором Пушкинского Заповедника в Михайловском. Война оставила здесь пустыню, так что, казалось, полной жизни уже не воскреснуть /Академия наук предполагала поэтому перевезти прах поэта в город Пушкин, построив ему приличествующий Пантеон, а здесь уберечь одни «пейзажные цитаты»/. Только в Академии, кажется, плохо знали Семена Степановича, его силы, его честолюбие, наконец, его превосходный и на ту пору музейный опыт.

И вот за без совсем немногого пятьдесят лет его михайловской жизни вернулось не только все бывшее, но как мнилось противникам /а их всегда было много, что первее и очевиднее всего говорило о живой силе и подлинности дела/ много «лишнего», что сегодня исподволь выводится из михайловского обихода, странным образом унося и тайну жизни этого единственного в своей свободе и убедительности музея. А тайна просто была в том, что он сам не хозяйствовал и не директорствовал тут, он тут жил и входил в пушкинский век

опять по своему обыкновению не с одного книжного крыльца, а из всей полноты здешнего мира, находя и всякому облаку и дереву его «законное место» и выведывая у них, как быть равным им в подлинности и правде. Ну вот для примера хоть самое мелкое, невидное - он еще по Петергофу знал парковые законы и для чего надобны и как устроены куртины и рабатки, боскеты и лабиринты, а тут он постепенно открывал и какие из здешних цветов когда закрываются на ночь, цветут и умирают, чтобы их жизнь в саду была непрерывна, и не забывал даже и их невинную грамматику, уже неведомую нашему нецветущему веку, но, например, тригорским насельницам очень даже известную: они и во сне могли сказать, что пион означает стыд, астра - коварство, ландыш - кокетство, а герань - предпочтение. Сведущий человек по одному этому скоро разумел, отчего одни цветы «селятся» в Тригорском и совсем другие в Петровском. И так все и во всем...

Сама по себе жизнь ему казалась в музее дороже имитированной подлинности и именно потому, что он добивался жизни, он добивался и убедительности. Он поднимался во второй этаж совсем новенького ганнибалова дома в Петровском и морщился от этой новизны, пока лестница вдруг не закрипела: «А-а, слава Богу, матушка моя, скрипи, скрипи!» и еще попрыгал на ней, пораспатывал, чтобы скорее «хозяева» могли позабыть о новоселье и принять Пушкина в «старом» родовом гнезде. Ученый со своим вечным «почему» с первых его дней здесь неразрывно соседствовал в нем с хранителем и художником, спрашивающим при этом еще и «как», чтобы наука оборачивалась поэзией, без чего здесь все будет неправдой.

Я скажу вещь для пушкинистов сомнительную, но уж что чувствовал и видел, то и говорю - Михайловское было домом Пушкина именно потому, что оно было домом и Гейченко, своим домом, жильем, а не мемориалом, и хранитель был не слугой, а товарищем поэта, его «домовым», ангелом-хранителем. Не зря так часто люди, писавшие о Гейченко утыкались в пушкинский завет ему /ему, ему!//

*Храни селенье, лес и дикой садик мой.  
... Ходи вокруг его заботливым дозором.  
... Люби мой малый сад...*

...«Храни, ходи, люби...» - то есть живи тут! Может быть, здесь жил теперь не тот Пушкин, но разве Пушкин один? Долгий опыт любой жизни говорит, что в каждом человеке сто человек, а уж в гении, верно, это «население» и того больше. Один из ста Пушкиных тут жил непременно и не в укор будь сказано иным музеям, жил поздоровее, повеселее, посчастливее, чем в Москве и Петербурге, Кишиневе и Болдине, потому что его принимали тут не как «ваше превосходительство», не как «национального гения» и «славу России», а как своего доброго хозяина и собеседника, который поездил по России, помучался при дворе, поревновал и пострелялся, а теперь мог и отдохнуть в родовом гнезде, собрать душу под заботливым взглядом своего старого, угадывающего всякое желание с полуслова, «управляющего».

Как часто, бывало, приезжие пушкинисты а иногда и свои потихоньку /а в последние годы, когда директор ослаб, и вслух/ ворчали, что вот и того при Пушкине здесь не было, и это было не так, а люди все шли да ехали отовсюду и все было для них по-пушкински и как надо. Ну, на это можно заметить: дураки, так чего. А только ответ будет не тут. Еще уж одну дикость позвольте: для остальных музеев, может, это и не годится, но здесь, при редком согласии хозяина и «домового», выходило как-то так, что все приживалось и ты поневоле думал: ну да, при Пушкине не было, потому что он был тогда молод и этого было не надо, а вот теперь, когда он совсем в Михайловское вернулся, очень даже надо. В том-то и дело, что директору нужна была не консервация, не восковая фигура невозвратного Михайловского, а живая усадьба с делящейся, естественно скрепляющей два времени жизнью, чтобы вороны, как два века назад кланялись востоку с криком «аллах», ласточки щебетали «мир вам», аисты пели на заре жалостливое и приятное, кот Васька ходил по усадьбе в специально спитых на цепкие лапы сапогах, чтобы не хватал птиц, мельница ждала

урожая, бездомный гость мог найти приют в садовом флигеле, соседние усадьбы сверкали окнами и хрустели крахмалом скатертей на случай пушкинского порыва приехать. В них, в гении-обитателе и хранителе дома этого гения, неизбежно должно было явиться и много общих черт, особенно в том, что касалось веселых действий, домашнего театра. Пушкин шел на ярмарку цыганом, а к тригорским барышням мог примчать и монахом. Так и в семейных альбомах Гейченко можно найти его и царем Максимилианом, и «грузином», и деревенским гармонистом. Когда я прочитал в одной из его новелл, как Пушкин, воротясь из Тригорского, подошел к окну своего кабинета, окликнул негромко: «Пушкин, ты где?» и сам себе ответил: «Тут я!» - и прыгнул в окно, я тут же вспомнил другой дом - петергофский, где жил Семен Степанович до войны, в пору работы в музеях дворца. Мы ездили туда лет двадцать назад и, когда шли мимо этого дома, Гейченко грустно посмотрел на чужие теперь окна и позвал шепотом: «Се-еня! Семе-он!». Потом махнул рукой: «Дрыхнет, наверно, или к девкам пошел, Ну и чёрт с ним!». Шутка вышла невеселая и для меня иначе осветилось и пушкинское дурачество - хорошо бы застать себя молодым и счастливым. И каждая встреча с михайловским хранителем побуждала зорче глядеть на Пушкина и отчетливее видеть его сердце.

Это была пушкинская закуска, свойственная, вероятно, всем кто входил в жизнь поэта надолго и кто сам владел редким, оказывается, в человечестве искусством жить, которое дается не всякому, а лишь тем, кто умножает радость мира. Кстати, вспомнилось, как один из наших земляков писал о другом: Каверин о Тынянове, что тот обладал «редким даром перевоплощения и смеялся сам и смешил других, так что как живого вы видели перед собой любого из общих знакомых, а когда он стал романистом, любого героя». Если вспомнить, что Тынянов еще был мастером копировать подписи, то я уж и не знаю, не о Гейченко ли это написано. И это искусство импровизации, и дар перевоплощения, и это копирование. В этом последнем пункте только разница, что Гейченко не

подписи копирует, а передразнивает документы. Долгие годы перед восстановлением Петровского занимаясь Ганнибалом и совершенно сжившись с ним, Семен Степанович однажды написал его утреннюю молитву о здравии крестного отца Петра I и она долго вызывала почтительное замешательство «ганнибалистов», которые не знали у арапа этого документа и не знали, верить ли глазам, видя его «вживе» -полуистлевший лист, писанный уверенной рукой старинного каллиграфа, смущающий разве только уж очень откровенным подмигиванием преувеличений: «Священного Российского государства автократуру, злодеяний прогонителю..., царства прибавителю, ордена святого апостола Андрея основателю и иных орденов кавалер Преображенского полка верховному хилярху, обоего войска Марсу, державному Нептуну на четырех морях, отцу моему во святом крещении всенижайший раб Аврам Петров и весь род его молебное молитвословие ко Господу приносит в доме всяк день до скончания века». А в «чайном храме» на веранде директорского дома, где толпилось сотни полторы самоваров, Аврам Петров подписывал рескрипт «о чайном питии повсеместно», а подтверждал сей «документ» «подканцелярист Семен Енчиков».

А те, кто сживал, бывало, в этом «чайном храме», часто оказывались свидетелями простого чуда рождения очередной истории, которую потом находили в очередном издании «У Лукоморья», книге, которая и посейчас не только прекрасный портрет деревенского Пушкина, но и автопортрет автора. Я прочитал как-то у югослава Мешы Селимовича об одном из героев его известного у нас романа «Дервиш и смерть» слова, которые тотчас помимо воли перенесли меня туда, в «чайный храм» на краю усадьбы, в пору, когда хозяин был еще крепок и выюга вдохновения несла его: «Знания текли из него рекой, заливали потоком, на тебя обрушивались имена, события, жуть охватывала при мысли о толпе, которая жила в этом человеке так, словно бы она существовала сейчас, словно бы это не были призраки и тени, но живые люди, которые непрестанно трудятся в какой-то ужасающей вечности бытия».

В этих беседах, в много отразившей чудной гейченковской книге, в его «Лукоморье» - отгадка михайловского чуда, рецепт свободы и радости, счастливое доказательство возможности быть в истории дома. И здесь же тайна этого чуда, потому что никак нельзя было понять, где он берет силы сохранять страстную взволнованность и молодое вдохновение при мелочности и вздорности «казенной» жизни, при пустословии высших и злой неприязни низших, при частой усталости от злого непонимания и последовательного сопротивления.

Последние два года его жизни были темны, усталость перевешивала, но душа все расходилась с возрастом, все вспыхивала и мучила молодостью и звала, звала к столу, потому что все казалось, что не записано все самое главное, тогда как оно уже было в его письмах, в нашей памяти, в нашем новом понимании Пушкина и мира, явившемся благодаря ему, его великому труду. Если бы теперь все собрать и обдумать, эта прекрасная жизнь была бы дописана. Но, увы, нашего сердца и нашей памяти хватает ненадолго. Ни любовь, ни дружество, ни даже чувство утраты уже не проникают сердце насквозь - скорее отмечаются в нем будто в книге приезжих. Мы теперь скорее знаем чувства, чем переживаем их. Душа почти нарочито делается забывчива, будто защищается, чтобы полегче переносить слишком подвижную, нравственно нечистую жизнь. Учишься защищаться от зла, а теряешь память.

Похоже, что за эти годы мы потеряем из памяти больше великих людей, чем во всякое иное время. Прекрасные умы, блестящие таланты, редкие в человечестве люди уходят в небытие, порой даже кажется насильно сталкиваются в него однодневным современником, который таким способом надеется оправдать свою беспамятность.

Семен Степанович уходит на глазах. Наши клятвы оказались непрочны и обещания вполне в соответствии с временем ложны. Больному времени уже не до попыток осмысления великого явления.

Вначале еще думалось, что музейная наука спохватится, соберутся конференции, откроется в доме Семена Степановича

методический центр с мемориальной частью, дающей хоть частичное представление о «технологии» этой живой всеобъемлющей мысли о великом опыте несравненного музееведа. Но время уходит, а все не до того. «Быт заедает». Как бы самим устоять. Музейная наука меркнет и вянет и Михайловское медленно съезживается до рядового пушкинского музея, уходит в провинцию культуры, забывает кипевшую в нем, как пчелы в цветах, жизнь.

Что я имею в виду, думаю будет ясно по тем извлечениям, которые я сделал из сохранившихся у меня писем и записей - верандных бесед Семена Степановича разных лет. Смеею думать, что уже и по этим крохам станет видно, что музееведение - это не наука, а способ жизни. Разумеется не для всех - для единственных, для счастливо совпадающих со своим назначением людей. А такие совпадения редки, как редка в человечестве настоящая любовь. Я когда-то прочитал у Вяч. Иванова гневный укор человеку, осмелившемуся сказать, что он «еще не любил» - «это все равно, что сказать - я еще не был королем - как будто это дается каждому».

Вот и с музеем так, с видением прошлого, с чудом владения жизнью, чудом воскресения прошлого. Семен Степанович специально не думал об этом, а только жил и пел, учась у Пушкина с дружеской свободой, с братским равенством, как это не покажется чрезмерно испуганным счетчиком запятых, которые, к сожалению, составляют основной «корпус» музейных работников и которые высушивают опекаемых гениев до гербарийной плоскости.

Мне хотелось в этих отрывках воскресить на мгновение чудо этой радостной свободы и хоть таким образом напомнить о несомненно великом человеке, которого щедрая судьба подарила России в напоминание о нерастраченной полноте и силе гящейся в ней жизни, а Пушкину - в братский оклик и утешение.

# Письма

Пушкинские-то деревенские письма помните? - непременно где-нибудь в уголке погода мелькнет. Это в городе ее можно просмотреть, домами загородить, а в деревне никуда не денешься, и Пушкин как сядет за письмо, так в окно и поглядит:

«... А я наслаждаюсь душистым запахом смолистых почек берез под кропильницею псковского неба, и жду, чтоб Некто повернул сверху кран и золотые дожди остановились /золотые-то золотые, а через строку - «У нас холодно и грязно» - В. К./

... у нас осень, дождик шумит, ветер шумит, лес шумит - шумно, а скучно.

... Ждем осени, однако у нас было еще несколько хороших дней и благодаря Вас у меня на окне всегда цветы...»

В другие окна на те же пейзажи глядит через полтора столетия другой человек, и как эхо отзываются пушкинские «метеорологические» примечания. С них мы и уйдем в письма Семена Степановича уж очень они в этом с Пушкиным переглядываются.

Но до писем - одна неизбежная оговорка. Я нарочно не выставляю в письмах даты, зная, как много влечет за собой это внешне бесстрастное числительное. Мне хотелось не научной публикации - тут законы иные, - а скорее «повести о жизни», что бы все росло для читателя, как один длящийся день. Так лучше видно, что история идет своей дорогой и они, невсегда, прямо пересекаются с человеком. Для приблизительной ориентации читателя скажу, что они писались с 1968 по 1990-й год, хотя стоят здесь совсем не по хронологии, а по «сюжету жизни».

Итак, как Семен Степанович за письмо сядет, так следом за Пушкиным - глаза в окно.

... Пятый день подряд в Михайловском «буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет как дитя!...» Боже мой, боже мой, до чего же фотографичен Пушкин в этом своем стихотворении!!! Действительно, в Михайловском все так, как в этих стихах! Ветер дует отовсюду: то с севера, то с запада, а то вдруг и с востока. Деревья трясутся, как люди в лихорадке. Кругом вся заснеженная земля покрылась кружевами из сучьев-паданцев, ветвей и целых малых деревьюшек! Иной раз ветер так дунет, что на крыльце срывается железо и начинает греть, как турецкий барабан в современной поп-музыке. Барограф кружится. Все вокруг вертится, как ломаное колесо в машине пьяного деревенского тракториста. Только за один сегодняшний день в михайловских рощах буря повалила несколько десятков елей и сосен. Пошел я в лес считать погибших, а ветрило как схватило меня за шиворот да как брякнет об земь, что я еле-еле дополз до усадьбы плача горько...

Тут я должен тебе, мой шедевр, напомнить, что за последние 20 лет бурелом и морозы погубили в наших краях рощах и парках тысячи деревьев, не считая малолеток. И как древний летописец, я ведаю тебе «и не бывало лиха такого в иные годы жизни моя!...»

Сейчас Новогодье. Пока живем по-старому. В центре усадьбы поставил я «новогоднюю елочку-кокетку». Украсил, чем мог. Повесил на нее пряники, бублики, конфетки, кусочки колбасы... Птички этому очень рады. Ведь зимой, особенно этой, у них с продуктами питания плохо! Вот и кружатся они вокруг моей елочки - все это воробьи, сойки, синицы, гаечки, свиристели и даже дятлы.

А снег мокрый, мокрый все падает и падает и тут же превращается в воду. Сороть набухает. Обрюхатилась совсем и вышла на прибрежные луга и нивы.

В этом году летом и осенью Сороть совсем было усохла. Стала не речка, а речушка. Возродилась только теперь.

*Затопила мостки и лаву, подошла к мельнице и заполоскалась.*

*\*\*\**

*Сегодня 1 января 1984 года. Понаехало отовсюду куча экскурсий, особенно много ребят. Оно и понятно. Сейчас по всей стране проходит неделя «Музей и дети». Да и то я должен тебе заметить, что в группах экскурсий мужчин 0, а женщин 100%. Изредка мужчины мелькают, но чувствуешь в них какую-то чекнутость или припадок бабувизма! Смотрю на всю эту публику и говорю себе: «Милые, а где же вы Новый год-то встречали? Неужто в поезде, автобусе, вокзале? Э..э...эх!»*

*Забегали в мой дом разные экскурсанты: кто взять автограф, кто пожать руку. Новый год я встретил во сне. Завалился в 12-м часу ночи и захрапел. Встал в 6 часов утра. Запряг лошадь, повесил бубенцы и запел «Сквозь волнистые туманы...». Кругом лесные сумерки, никаких следов зарянки еще не было. Вернулся домой. Затопил печку. Поставил на плиту чаепитие.*

*Кот на лежанке.*

*Я за столом.*

*На часах 10 вечера.*

*Радио верещит, будто сильно простужено.*

*За окном темень, как во времена Стефана Батория...*

*\*\*\**

*Под окном моего дома стоят разные ивы. Их много сортов: серебристая, корзиночная, самостригущая, самоодевающаяся... Все они по-разному красивы. Самые высокие - серебристые. Но у них есть беда - они не долговечны. Когда их посадили в 1945 году, их было 100 штук. Сегодня 50! Половина их - гнилье.*

*Под окном моего дома стоит кормушка. Здесь столовая, трактир, продмаг, ресторан для всех пичуг, зимующих в*

Михайловском. Воробьи, голуби, синицы, чайки, сороки, галки, снегيري... И дятлы - пестрые, зеленые, черные...

Но вот недавно прилетел дятел, какого я доселе не видел ни разу - большой, длинноносый - орел, сущий орел! Подлетел он к одной умирающей серебристой иве и стал снимать с ее вершины сухие ветви и складывать в кучу на земле. А потом начал снимать кору. Застучали барабаны, загудели кларнеты, затрубили трубы - послышалась музыка - симфонная, не то Шнитке, не то Петрова. Это, батюшка мой, чудо!

\*\*\*

Тере тере! Я только что вернулся из Эстляндии. Был на совете музеев. Кое-что было интересное. Пробежали все музеи. Ездили в Дерпт (он же Юрьев, он же Тарту). Были в его университете, библиотеке, ходили по улицам, где реют тени Жуковского, Вяземского, Дельвига, Языкова, Вульфа...

Кое в чем эстонцы молодцы. Например, в собирании предметов крестьянского быта, творчества, инструментария. Они сделали богатейшие фонды всего-всего. Надо бы и нам этим заняться. Ведь на Псковщине было все свое отличное от питерского, тверского, московского - лавочки, шаечки, хомуты, веретена, кубели и проч. проч. А мы собираем одни юбки да пояса. Попробуйте теперь найти бабские нижние портки, колдовские камушки, поминальники и нательные ладанки.

Вот недавно мы купили старую избу для восстановления дома мельника в Бугрове, чего-чего только не нашли на чердаке! Это прямо диво-дивное!.. Устал я не мало. А ведь я мужик, как говорится не первой свежести. Да и хозяйство у меня: изба, птичник, шесть уток, петух, шесть голубей, две печки, телефон и директорство. О, Господи и владыко живота моего, дай мне силы для боев за промфинплан! На сем миль пардон, оревуар и бонжур, минхерц...

\*\*\*

*Я только что воссоздал бильярд Пушкина. Его вам надобно посмотреть. Вещь неожиданная для теперешних бильярдеров.*

*Недавно узнал, что в Глубоком у Дондуковой-Корсаковой хранился сапог Петра Великого и два ящичка книг из Петровского. Вы ничего тамотко про это не слышали?*

\*\*\*

*К нам в Святогорье пришла наконец-то Весна!*

*Ручьи слились с реками, реки уплыли в озера, и все стало как оклян-море! Купы ив с утра до ночи купаются. В тенях ив купаются дикие утки и перелетные гуси. Как инопланетные воздушные липендрины спускаются с неба туманы. За ними мелькают лодки браконьеров, охотящихся за здешними нерестующими дельфинами-лещами...*

*Ах, черт возьми, почему я не художник! Какой красивый пейзаж сегодня повсюду. А вы тоже шляпа. Почему не хотите приехать? Ведь через неделю «этого» не будет ничего, а будет обычное, красивое, но известное-преизвестное.*

*Я уже писал вам, что из Михайловского перевез в Святогорский монастырь колокола. Они прекрасно устроились на колокольне Успенского собора. Кра-а-а-сиво! Сегодня красивше, чем вчера. А звук! О, Боже! «Колокола звените, глушите время, славьте небо!» /В. Вейдле/*

\*\*\*

*Каждый день в двери хижины моей слышен стук и стук. Потом начинают скрипеть ступени лестничные и слышится скок и скок. Потом происходят: явления, возглашения, здравицы, целование, застолье, тосты, открываются бутылки и фляги разные. Текут чача грузинская, наша родная многоградусная, перцовая... Начинается великое сидение, питание, охи-вздохи, легенды, сказки, новеллы.*

*Потом глаголю я о Пушкине, Михайловском, Ганнибалах,*

*самоварах, подковах, книгах...*

*Потом опять застолье. Наконец, происходит прощание, посошок, обещания, целование...*

*Ту... ту...*

*Так бывает почти каждый день.*

**\*\*\***

*... Две старушеницы, прослышав про то, что теперь в Заповеднике часто бывают экскурсанты, которые не только глазают, но и кого-чего делают, помогая нам, хранителям, - напросились ко мне: мол, тоже желаем... Вот я и дал им метлы и грабли и они вдохновенно и демонстративно перед всеми проходящими мимо них пускают пыль в глаза! Настоящие! Знай, мол, наших! Всего эдаких интеллигентов у меня в Заповеднике перебивало почти полсотни.*

**\*\*\***

*А в Михайловское прилетели дрозды! Во всех скворешниках запищали птенцы. Соловьи в рощах поют свои романы круглосуточно. Вчера утром на крыльце дома Пушкина увидели змею-медянку, которая грелась на солнце. Я вспомнил совет моего деда, лесника у барона Гревеница, его совет, как поймать без опаски быть ею ужаленным. Для сего нужно взять из куста лещины палку, один из концов ее расщепить, вставить в него спичку, ткнуть им в змею, спичка выскочит, а змея попадет в капкан. Что я и сделал!*

**\*\*\***

*Честь имею сообщить, что во вверенном мне сельце Михайловском все находится в благополучии, за исключением разных мелочей, как то:*

- 1. Липестричество второй день не горит.*
- 2. Посему и водопроводная система, извиняюсь за выражение, не функционирует.*
- 3. Посему продукты питания, приобретенные нами*

законным, а также партикулярным образом пришли в негодное состояние. Вследствие чего в доме, и у соседней наших сильно звучат скверноматерные слова и разные обороты речи крайне фигуративного свойства. Что касается идейной, культурно-просветительной и научной работы, то она в обычной норме. Только вчера, в воскресенье пришло в дом Пушкина 87 экскурсий! Дом трещал, выл, стонал. А люди все валили и валили. Экскурсоводы стали как чечетки - трещат, торопятся и убегают. Им все равно, кто около них, для кого они, о чем должно звучать их слово...

... Только что закончил часовню в Михайловском. Сооружение ангельское. Ей-ей! Нужно на нее посмотреть обязательно. На душе моей зябко. Зиму жду, как кару небесную.

\*\*\*

У нас черт знает что продолжается! Сороть, озера, пруды вышли из своих берегов. Водяные тучи крепко уселись на вершины ганнибаловских елей и лип, и поливают, и разливают, и наливают всюду через край... Я много думал, как спасти дом Пушкина от людей с их зонтиками, сапожищами, плащами, и решил сделать вот как: пусть экскурсоводы сеют разумное только во дворе, а в доме Пушкина торжественно молчат и проходят только через прихожую, девичью и алле-оп - на выход! А остальное - зальце, кабинет, спальня родителей - через шнур. Вот так! Тишина. Мерси. Оревуар...

Из Михайловского удрали все птицы - дрозды, поползни, трясогузки и иные прочие. Остались только ласточки. Бедная пичуга. Окоченевшая, она садится на плечи, головы паломникам, а эти дураки думают, что... Что они думают-то? Птицу надо взять поскорее, положить за пазуху, отогреть, а они черт знает о чем думают. Только понять не могу, почему они не хотят отсюда улетать. Или они знают, что на всем пути их на юг стоит сейчас дождина и холодина? Завтра древний русский праздник, который любили когда-то все цари, философы, Ломоносов, Державин, Пушкин, Чехов,

*Рахманинов. Любили мужики и бабы. Любили попы и начальники, ребятишки и старикашки. «Величаем Тя, Владычица наша» Завтра - Покров! Да спасет нас Владычица наша от бед и обид.*

*\*\*\**

*Сильно прихворнул. Развалился по дороге из Москвы в Псков. Весь в лекарствах. В Москве нервничал. Заседал. Гневался. Капризничал. Ругался. Умолял. Фигурировал. Читал лекции в МГУ. Был у министра культуры. Справлял именины. Было 20 московских прохиндеев и «диссидентов». Пили. Ели...*

*Дома куда лучше, чем в Москве. Там суeta. Там лешие бродят, русалки повсюду. Полно невиданных зверей...*

*\*\*\**

*А меня вновь «Бог посетил...» В ночь с 10 на 11 мая в Пушкинском Заповеднике началось светопреставление. Оно продолжалось целые сутки. Пришли египетская тьма, ветер и такой огромный снегопад, какого не видывал я доселе никогда, и никто мне про эдакое не рассказывал! Это было какое-то «чудище обло, озорно и стозевно». С неба падали снежинки весом по сто граммов каждая. Они падали и приклеивались на землю, на деревья, на кусты. Все сущее покрылось полуметровой толщины снежным покрывалом. К концу светопреставления в Михайловских рощах лежали тысячи сломанных, вывороченных с корнем, поваленных молодых сосен и берез! Всюду лежали погибшие дрозды, скворцы, мухоловки и разная другая пичужка. И только вороны чувствовали себя ладно, хватали мертвых птичек и тащили к своим углам.*

*Я вначале завыл как собака, почуявшая покойника. Потом смирился и завертелся. Стал звать на помощь людей, теребить школьников, солдат. Многие пришли и начали уборку. Я накупил пил, ножовок, топоров. Сейчас навожу порядок в хорошем алюре. Стараюсь навести порядок хотя бы там, где люди идут, где горе особенно круто бросается в глаза.*

*Но скоро все не приберешь. Уж больно большого масштаба лихо. В лесу сильно поредело. Ландшафт кое-где переменился неузнаваемо.*

**\*\*\***

*В Пскове я достал однотомник Клюева Н. А. с хорошей статьей Базанова -человека вполне нашего времени: под старость либерала и поклонника того, что в молодые его годы было под запретом и с чем он боролся. Сборник мне понравился и я почувствовал в книге присутствие Николая Алексеевича, которого я знал довольно близко в 1926-1934 годах. Он часто приезжал в Петергоф, где жил его друг и приятель из Вытегры Николай Ильич Архипов.*

*До войны у меня в доме хранились многие стихи Клюева. Он передавал мне на память гранки своих книг, черновики, которые ему не нравились, и разную скоромность, до которой Н. А. был большой охотник. Как-то на день моего ангела он подарил мне чашку чайную и уверял, что эта походная чашка Наполеона! Я верил и не верил, потому что близко наблюдал за его сочинительством и балагурством...*

**\*\*\***

*Извещаю вас, что в Михайловском возрождена фамильная часовня Пушкиных. Она прекрасно вписалась в «Поклонную горку», в Еловую аллею, в перспективу, открывающуюся с крыльца дома Пушкиных!*

*Последний месяц я жил здесь, как половой в трактире. Все гости, гости, гости... Чай, чаек, чаище, кофеище, жратва, болтовня, трепотня... Тьфу, тьфу!*

**\*\*\***

*Я по-прежнему весь в хлопотах. Кую. Тешу. Вбиваю. Собираю. Крашу. Жгу. Вывожу. Печатаю. Монтирую. Экспонирую. Пишу. Материуюсь. Принимаю. Угощаю. Встречаю. Провожая. Эццетера.*

*Только что закончил восстановление грота, ремонт*

*разных домов, домишек, заборов, скамеек. Сделал несколько садовых седалищ, каких раньше не мог удумать. Напечатал новые памятки по музеям. Недавно приобрел в Питере хорошую пушкинского времени лампу. Около Палкино нашел карету. Хочу купить. Буду возить г. г. писателей, художников и малых сих. На сем ломаю перо и впадаю в безмолвие.*

\*\*\*

*Только что возвратился из поездки в Москву и Ленинград, где самосильно трудился над решением различных ганнибаловских дел. Все вожусь с книгой, в обложке которой нашлось почти 30 писем Ибрагима! Среди них есть весьма и весьма любопытные! А в Питере у одной древней старушеницы обрел два письма Венъямина Ганнибалова и еще ково-чево доброго мне Бог послал!*

\*\*\*

*А по поводу прочтения Пушкинских трагедий могу сказать вот что:*

*- чтение Рецептора - ерунда.*

*- чтение Яхонтова - отрывочно. На всего «Бориса» у него не хватило ни сердца, ни духа, ни просто силы-пороха.*

*Яхонтова я видел крупным планом, когда он готовился к чтению, доказывал зеркалу, в котором пытался разглядеть себя, Моцарта, Бориса... Это было в Ленинграде, в Мраморном дворце в 20-х г. г., когда там не было ни музеев, ни канцелярий, а были искатели: кто искусства, кто науки, кто просто крутился вокруг да около. А я был тогда одним из основателей общества социологии и теории искусства! Я Яхонтова слушал сто раз и был от него без ума. Но лучше, проникновенней, златоустней его читал Сандро Моисси. Это даже хорошо было, что он, Моисси, не читал по-русски. Чтобы слышать «Божье слово», не обязательно нужно знать язык, на котором оно звучит. Когда Шаляпин поет Дон Кихота по-французски, нам все в его пении понятно. Когда слушаешь мессу Баха, в душу входят все Божьи Слова - слова итальянцев, греков,*

немцев и даже псковитян. Кстати, псковичи услышали органную музыку раньше, чем москвичи. А орган - это наивысшая ступень слова!

\*\*\*

... Хворал-то хворал, а дело свое делал - готовил Заповедник к Празднику поэзии. Праздник-то ведь был круглый - X-й; да и Андроников просил, псковское начальство надеялось, да и мое классовое сознание требовало, и я старался! И все получилось, как в цирке: алле-оп! и я воскрес и в Петровское хоть к открытию, а приполз. Но когда увидел очи Павла Григорьевича Антокольского растопыренные в мою сторону, я зарычал, и пропел собравшимся гимн птенцу гнезда Петрова, начав свою речь с запева на мотив Тредиаковского - «кое странное пианство...»

Все было благо. Петровский зал мне самому понравился и я потом бегал по веранде и кричал: «Ну, Семен, ну сыр голландский! Молодца!» Всем понравилось: и Андроникову, и Рыбакову, и Козловскому, и Пиотровскому, а главное - понравилось мне самому. В благодарность за все сделанное мне прислали приглашение на VI съезд братьев писателей. И я там был, портфель подарков получил, жене духи купил, значек на грудь повесил. Прослушал 250 докладов и выступлений. Выпил и закусил, когда был зван на банкет в Кремлевском дворце. Кричал уррра! И с большим вдохновением возвратился к себе в деревню, понеже я вообще-то рожден не для житейского волненья и не для корысти, а для размышленьев, созерцаньев и лакировки действительности.

\*\*\*

Милой! Я еле-еле доехал до Пскова. В дороге ругал себя, кричал всякие мерзкие слова и все же ехал, ехал, ехал... Приехал весь в мыле. И о чем говорил на чтениях, о чем вещал - один Бог только знает. Все было как во сне. Обрато домой приехал, как пьяной Петр Абрамович Ганнибал. Потребовал чаю, каплей, горчишников и опять все было как во сне. Ночью

*бредил, видел страшное. А через день приехал Марлен Хуциев. Тоже больной. И мы стали вместе выздоравливать. Он приехал делать свой фильм о Пушкине. Сценарий писал 15 лет. Интересно, сколько же лет он будет снимать сию картину? Задумка пришла к нему здесь, в Михайловском в 1964 году. Потом все переехало в Питер. А теперь вернулось опять сюда. Марлен обещал, стал похожим на библейского старца, живущего на покое в недрах Исаака и Иакова...*

*Новости жизни моя:*

*У меня произошла смена петухов. Достал нового с кирасирскою каской на голове и при золотых шпорах. Добряк, Певец. Привык ко мне на третий день. А старого мы бульонировали...*

*... Я все думаю - хорошо бы найти кошелек с большим деньгам! Подарил бы вам на семейные нужды три тысячи, дочке своей на именины 1000, слепой моей сестрице Марье Степановне 1000. Жене своей 1000. Купил бы сто листов фанеры, сделал из нее космический корабль и улетел бы к ... из этой самой деревеньки на Парнасе!*

**\*\*\***

*Еще и еще и еще раз поздравляю Вас с Новым 7499 годом! Желаю Вам быть крепким, как «спирт в полтавском штофе», звонким как Шаляпин, мудрым как Менделеев, задушевым как Никита Козлов, поэтичным как Есенин и неумолимым как Пушкин.*

*...Что касается моих воспоминаний в Вашей памяти - их надобно пополнить теми сведениями, о которых сегодня в эпоху перестройки можно поведать людям и чего нельзя было сделать до 1985 года: например о моей встрече с Николаем II, о пьяном Кирове, о моей встрече с женой и детьми генерала Мина - командира семеновцев - «громил» Красной пресни и пр., и пр., и пр.*

*Вот уже третий день вижу я в Михайловском огромного, с рыжими пятнами пса. Добродушная морда, добрые глаза.*

Один раз увидел его в конце дня, возлежащим калачом у старого клена возле домика няни. Подошел, посвистел - вижу спит. Спросил его: «Ты случайно не пушкинский Руслан»? Пес поднял голову, посмотрел на меня рассеянным взглядом и вновь свернулся клубком. Сейчас стоят морозы. Ночью до 12 градусов. Кто он? Что с ним? Зачем сюда пришел? Мне кажется что он стар. Уже оглох. И хозяин его какой-нибудь местный дядя, получивший в совхозе к празднику новую квартиру в четырехэтажном доме, изгнал его за ненадобностью.

Вчера прохожу вечером у дома Калашниковых, гляжу - у стенки на куче листьев лежит мой Руслан. Я позвал его - «Руслан!..» Он сразу не отозвался. Тогда я крикнул на всю усадьбу: «Русла-ан!». Он повернул ко мне свою дряблую морду и спросил: «Ну, что, дед?». Я потрепал его по шее и побежал домой. Принес ему хлеба, сахару, и свиную кость. Пес хлебал чавкал, ползал губами по крошкам. А кость спрятал под листья.

Все это было в совершенном уединении. Никого! Кроме меня, пса, неба, теней деревьев и электрической лампочки, которая осветила мне событие сие, и я узрел оное.

\*\*\*

А знаете ли вы, что я в Сибири видел живого Мандельштама, когда он совсем уже переродился, был нищим, убогим, запущенным попрошайкой ЗК?!

А знаете ли вы, что Зимний дворец, Петергофские дворцы, царские парки всякие были открыты в те времена для посетителей, и даже были путеводители по этим местам? «Вахмистры» ставились на сих местах лишь тогда, когда приезжали из Европы короли, королевы, принцы. Не пускали только солдат, ибо согласно тогдашним правилам военищины солдат все 24 часа в сутки был на службе. Никого не пускали лишь туда, в те парки, где жили Его Императорское

## *Величество и Их Императорские Высочества.*

\*\*\*

*Я не хочу писать вам о своем самочувствии, житье-бытье. У меня его нетути. Я - Иов...*

*Вы жалуетесь на одиночество. Хе-хе, чудачина! Ведь человек и создан на свете для одиночества. Он одинок всегда и всюду, при Адаме, и при Юлии Цезаре, и при Сталине, и при Михалкове. Порою он так одинок, что уходит от людей, от всего людского совсем - совсем. Ему бы книга, тряпочка, собачка, кошечка, цветочек или 0,5 или просто ни-че-го!!! Люди по-настоящему не любят друг друга. Особенно творцы. Они боятся друг друга. Писатели. Художники. Музыканты. А книжечка, цветок, папиросочка -они вещи разные честные, не подведут. Одиночество - это благо!*

\*\*\*

*С каждым днем я все больше хирею и кисну. Возле меня никого нетути, кто помогал бы мне жить словом и делом. Все бандитски ждут известия о моем «уходе в ночную тьму». Все живое, что было возле меня: пес, кот, утки, гуси, петухи и куры - все исчезло как дым. Остались за окном лишь воробушки и синички. Сейчас в Заповеднике появилось много новых работников всех категорий, и всем им до меня как до керосиновой лампочки. Одна радость - письма. Они летят ко мне понемногу и отовсюду. Одни спрашивают о том, что было в моей жизни. Другие задают вопросы о Пушкине и легендах о нем. Многие посылают свои стихи, мне посвященные. Этаких стихов у меня великое множество. 30 мая начнется приезд гостей 25-го Праздника поэзии. А с 5 июня начнется период доброхотства паломников, которые обещают принять участие в уборке Заповедника. Уже начались разговоры о подготовке к научной августовской конференции...*

\*\*\*

*Но уже ни доброхотов, ни августовской конференции он*

приветствовать не мог: болезнь подкосила его тотчас после Праздника поэзии. Карусель остановилась. Музыка смолкла. Письма от нас еще летели к нему по инерции несколько месяцев, но все редели, редели, пока не сошли на нет. Без отклика нам писать трудно. Скоро умерла его терпеливая спутница и великий неслышный помощник Любовь Джалаловна, и одиночество обступило больного хранителя еще плотнее. Нет виноватых, а будто и виноват и неотчетливая тоска щемит как заноза.

Нам такой жизнью уже не жить и таких писем уже не получать, потому что это была, кажется, последняя ветвь старинной коренной пушкинской переписки и жизни. Теперь из мертвого летоисчисления остается только благодарить судьбу за счастливый дар и, перебирая скоро стареющие листы, вспоминать, вспоминать ушедшую радость.

# Разговоры

Когда-то я любил их записывать. Иногда тотчас после встречи, иногда позже. Делалось это для друзей, чтобы не носить радость одному. Не пропускал я и мистификации и те странные сюжеты, которые нет-нет и смущали слушателей Семена Степановича, не решавшихся однако пускаться в разоблачение, потому что никак нельзя было угадать по интонации, дурачит ли хозяин гостей или действительно воображение занесло его дальше тесных границ реальности. Я не знаю, зачем вспыхивали в беседе в особенности в последние годы фразы вроде: «Вы, конечно, помните, как по приглашению Сталина в Ленинград приезжал великий князь Кирилл Владимирович, и в Мариинке в его честь был дан концерт?...» - но я неизменно радовался этим чудесным осколкам какой-то «параллельной» истории, которая так естественно соседствовала у Семена Степановича с реальной. Я думаю, он как раз затем и вкраплял в вольный поток воспоминаний фальшивое стеклышко, чтобы тем чище сверкнул часто внешне более простой подлинный камень.

Долгая болезнь, утраты и усталость последних лет отняли у старого хранителя настоящие силы, но ум его до смертного часа смеялся над немощью плоти, и поредевшие гости некогда такого шумного дома нет-нет еще могли услышать как встарь: «А вы знаете, что русская императрица Александра Федоровна, чтобы справиться с трудно дававшимся ей русским языком, взяла и выучила «Евгения Онегина» наизусть и часто читала его сестре Елизавете, и они обе в самом смутном сне не могли видеть, чтоб обе станут русскими святыми...»

Можно было только одни эти «а знаете...» и оставить и не возвращаться к обстоятельствам записи. Но зачем-то просился порой в тетрадь и пейзаж. И просится сейчас, может быть для того, чтобы осветить каждое слово хранителя живым

светом минувшего дня и заставить поверить, что чудо возможно и день этот может вернуться весь как был.

Поначалу думал выстроить эти осколки бесед в живой порядок биографии - как мелькали детские годы, юношество, дни перед войной. Но скоро понял напрасность затеи - не биографию же в самом деле я думал писать, записывая эти мимолетности и не истории же в них искал, не однозначных свидетельств /действительность и у него часто корректировалась сюжетом и обстановкой, так что, случалось, я одну историю слышал с совершенно разными концами, да и сам я при записи нет-нет что-то и «закруглял», огранивая сверкнувшую в громоздкой породе беседы отдельную мысль или историю/. Разумнее, наверно, просто следовать тетради, в которой остались эти записи - как рождалось, так рождалось, потому что «даты» воспоминаний так же относительны, как даты писем. Разве, что первые записи все-таки предпочту из «биографических» в них есть какая-то особенная яркость и чудная живость и любовь с которыми обыкновенно вспоминается невозвратно ушедшее.

\*\*\*

*- Когда ко мне подступило смертное испытание, я вспомнил совсем позабытые вещи, которых будто и не было в памяти. Вспомнил, как мы с отцом ездили в Ораниенбаум, принадлежавший двоюродной тетке Николая II графине Карловой. Отец, мой выезжал лошадей для императорской фамилии, в том числе вот и для графини, к которой мы ехали. И вот я помню, меня странно одели, причесали и мы тронулись. Отец оставил меня где-то в парке и сказал: «Не трогайся с места. Замри тут!» и ушел. Потом появился с какой-то черной старухой и она через пенсне на рукоятке стала разглядывать меня. А потом сказала: «Ну что вы, Степан Иванович! Зачем ему гимназия? Вы жили и жить будете как всегда жили. Я обещаю устроить его в хорошее ремесленное училище и он будет краснодеревщиком или портным». И тут, я помню, я дернул отца за руку и сказал:*

*«Пошли отсюда!» И отец, извинившись «Ну что ж, спасибо, Ваше императорское высочество, простите, что беспокоил», отбыл со мной, придерживая саблю, чтобы не била по ноге. Это, оказывается, мы ездили просить на содержание меня в гимназии, ведь мы были бедные люди, а когда умер шеф полка, даривший к праздникам какие-то пустяки /все-таки нас в семье было семь девочек и я/ стало совсем плохо. Но гимназию я все-таки кончил. Это дело взял на себя мой крестный - командир эскадрона, штаб-ротмистр, потом полковник Исарлов.*

*\*\*\**

*- А шефом полка моего отца был великий князь Михаил Николаевич соименник архистратига Михаила, небесного воина, отчего Михайлов день всегда был в полку особенно пышен. А потом старик захворал и поехал в Ниццу, упредив, что буде он там помрет, чтобы хоронили чин чином, и отец мой с жеребцом Михаила Николаевича ездил на эти похороны и вел коня за гробом. Он привез оттуда сундук дареных тряпок. Чего там только не было! Когда весной мы это добро вывешивали для проветривания, сбегались зеваки с Дворцовой, Полковой и Фабричной улиц. И я выходил и гордился.*

*\*\*\**

*- В Петергофе стояли четыре полка - уланский, драгунский, лейб-гвардии конно-гренадерский /наш/ и специальный сопроводительный. У нас в саду был курятник, и я с него видел, как государь выезжал на прогулку: казак впереди, казак сзади. Я выбегал и снимал шапку, государь делал под козырек. Я пробегал дворами и перехватывал его еще раз и опять снимал шапку и он, опять, улыбаясь брал под козырек.*

*А пол улицы были евреи. Это уж когда Европа в войну укорила нас в антисемитизме и С. Ю. Витте взял на должность заместителя начальника штаба армии еврея. И у нас они поселились на Дворцовой - зубной врач Иосиф Абрамович Берлин, «Фуражки, шапки, шляпы» Шифман,*

*«Ювелир. Починка часов» Клаузо, «Военный и статский портной» Спелинский... Дальше была синагога и балбесы Берлины, с которыми мы вместе учились в гимназии, звали нас на еврейскую пасху. Надо только было брать свистульки, барабаны, гармошки и трещотки и в час радостного Исхода всем разом свистеть, брэнчать, тренькать и барабанить. Зато потом они ходили к нашей Пасхе и на Христос Воскресе! вместе с нами орали Воистину Воскресе!. Так улица и шла: дворец, дома министров, кавалерственные дома /кавалеров высших орденов/, полки, а там евреи - все уживалось как в России на одной улице.*

*\*\*\**

Услышал по радио, что «Данаю» в Эрмитаже безумец облил кислотой.

*- Раньше, когда Зимний открывали для посетителей, были осмотрительнее. В залах, где были Леонардо и Рембрандт, стоял смысленый лакей с хорошей психологической школой, чтобы вовремя изолировать лишнего. Орбели, потом, шутя, учил нас, как по взгляду на полотно отличать здорового от психопата и я потом долго тренировался и даже любил подходить к этой породе молодцов и выслушивать их затейливый бред о той или иной картине.*

*\*\*\**

*- Первая война началась классически: общим плачем, боевыми трубами, молебнами. Кони, сабли, выступления на вокзалах, задорные крики. Наш преподаватель в Петергофской гимназии немец Тилек выпрямился и стал носить голову выше прежнего. Он не боялся за свой фатерлянд, но немца никто всерьез не брал. «Жил-был толстый немец Тилек по прозванью «Бочка килек» - вот на какую монету разменяли его пафос петергофские мальчишки. Поляки Стефановичи заволновались, засобирались, запели «Еще Польша не згинела», мобилизовались и пропали. Француз Добровольский /француз, положим, русский, но все француз/ тоже замурлыкал: «Аллонс,*

анфан, а ла Патрия» и тоже наладился из Петергофа, но скоро воротился с Георгиевской лентой, о войне уже не заговаривал и скоро застрелился.

Так и революция. Преподаватель музыки Гинзбург явился в класс, сверкая глазами. Он провел бессонную ночь и принес гимн: «Это будет наш общий гимн. Слушайте: «Все мы братья, все мы братья! Мы один народ! Смело против самовластья мы пойдём вперед!» Ему не сиделось, надо было петь, идти вперед, звать к свободе. Он ушел и пропал в боевых днях без следа. Директор гимназии Михаил Иванович Шубин, генерал, ваше превосходительство, из тех, кто моему детскому воображению представлялся александрийским столпом, опорой мира, сидел у моего отца на кухне, опустившийся, почти мертвый, и спрашивал, не поднесет ли ему отец, и, торопясь, выпивал, проливая на грудь. А инспектором был у нас Михаил Михайлович Измайлов. Он был автором первого путеводителя по Петергофу, и, по улыбке судьбы, мы потом работали в петергофских дворцах в одной должности - младшего научного сотрудника.

\*\*\*

- На объединенных учениях фронтов командующим предложили дворцы. Тухачевский выбрал итакенинайдеровский. «Скажите, а старые слуги еще живы?»

Слуги были явлены и во время учений баловали маршала царским смотрением. По окончании он пригласил всех в приемную и по очереди звал в кабинет. Там, кося глазом в приготовленный список, подымался навстречу.

- Анастасия Тимофеевна, я благодарен вам за материнскую заботу. Примите в знак внимания.

- Петр Никифорович. Я благодарен вам за отеческую...  
Примите...

- Марфа Тихоновна - за материнскую...

- Сергей Тимофеевич - за отеческую...

Примите, примите, примите.: конвертики, перстеньки, чашечки, статуэтки...

*«Отец, кормилец, барин, никогда не забудем».*

\*\*\*\*

*- Когда я описывал после смерти А. А. Блока его квартиру, я в левом верхнем ящике сразу увидел карандашный набросок «Двенадцати», а в нижнем валялись какие-то кредитные билеты или облигации - не помню. «Двенадцать» описали, а это приказали в печь. Я и говорю: можно мне это взять на память? - Валяй! - говорят. А, оказалось, что эти облигации еще имеют хождение и мы с приятелем пошли в банк и получили пятьсот рублей. Эх, и надрался я тогда за здоровье Александра Александровича!*

\*\*\*

*- После революции весь Невский от Садовой до Дворцовой был вымощен плитами трех разоренных кладбищ, и под ногами кричало: « Помолись за меня, бедная Сашенька», «Упокой, Господи, душу раба Божия действительного статского ....» Пока не возопили сами люди, уставшие поспирать родной прах. Об этом что-то все никто не пишет. Некогда нам покаяться, хотя без этого ни человеку, ни народу не жить.*

\*\*\*

*- Близко я увидел Сталина впервые в 1932 году. Вдруг в Петергофе все стали мыть и вылизывать. Говорили: едет Киров. Директор Николай Ильич Архипов потерял голову. Вдруг грянули мотор, двинулись американские машины с какими-то летящими никелями на капотах и вышел ... Сталин, необычайно маленький в сравнении с подсказкой воображения. «Хто здэс хозяин?» Явился директор, заизвинялся за бедность, посетовал на нехватку денег. «А вон там в углу, паутину убрать тоже денег не хватило?» Директор тут же умер - чертова паутина, так скоблили, а словно кто нарочно повесил. Сталин шел из зала в залу державным шагом: «Здесь што? - Спальня Екатерины. - Интэрэсна! - А здесь? - Кабинет Петра». Долго смотрел мундиры, мерял воображением. Подошел Киров: «Иосиф Виссарионович, время кончается,*

*распорядок зовет. - Ужэ? А фонтаны?» Вышли к фонтанам. Внизу толкся разом все пронюхавший народ, и едва Сталин вышел к балюстраде, поехало: «Да здравствует ... вождь, учитель... А-а-а!» «Интэрэсна!» Явился распорядитель поездки. Налетел на меня: «Подарки приготовили?» Господи, какие подарки? Когда? «Ну хоть путеводители есть?» - Путеводители есть. «Немедленно в типографию, вот вам 12 минут, чтобы на титуле было напечатано: великому, любимому, ненаглядному...» И я полетел. Через 12 минут книжки были вручены. Колесницы загремели, сверкнули молнии, Юпитер исчез.*

**\*\*\***

Ласточки играют перед домом. Вылетели из-за угла, чуть не наткнулись на нас, и с вскриком и смехом пропали вдаль. Вкрадчиво, хищно, но с совершенным внешним равнодушием проходит по саду кот Василий /Васяся/. Ему есть с чего быть равнодушным: утром он съел под окном белку, оставив только пушистую кисточку хвоста, и с ним никто не разговаривает. Молодые гости - сын Белашовой и дочь Фаворского - собираются пройтись по парку. Семен Степанович ограничивает:

*- Только не надо ходить смотреть на цапель. Я думаю, что рано или поздно они отсюда улетят. Ведь цапля любит тишину, уединение, болото, где лягушки и змеи и куда, она знает, человек не придет. А тут шум, толкотня, пальцами тычут, всех лягушек разогнали, приходится за ними чуть не к Пскову летать. На цаплю надо смотреть в воздухе, в полете... Лучше пойдите по мосткам за Сороть лугами к Зимарям, на холмы и там увидите, как небесная сфера прикрывает это святое место, как уединен этот дом на Парнасе, как стоят на лугах соборы и часовни стогов и кружит над ними крикливое облако галок.*

*Вечером заходит речь о памятнике Ганнибалу в Петровском, о материале -из чего делать.*

*- Я думаю, материал должен быть строгий, как*

*памятник, и памятник строгий как материал. Посмотрите на бронзу Растрелли. У него ведь памятники как будто пальцем грозят: сюда подойди, а дальше не смей! А то ведь есть памятники, которые просятся в объятия, и им непременно кто-нибудь помадой губы накрасит. А сами и виноваты.*

**\*\*\***

*Липа гудит, как телеграфный столб. Вот-вот она зацветет, и в ней кипят пчелы. Под солнцем она кажется вспотевшей, и если лизнуть влажные листья, они пьянят нежной сладостью меда. Кажется, этот мед называется «падевый». Прошлый год, когда липа еще простирала ветви над садовой звонницей, этот мед капал и с колоколов.*

*- Отец брал меня в 1912 году на годовщину Бородин. И я помню цветение мундиров на Бородинском поле, когда имитировались атаки и марши. А в 13-м году я был на открытии памятника Александру III у храма Христа Спасителя, и на всех фотографиях, обошедших тогда журналы, можно увидеть мальчика в матроске - это я.*

**\*\*\***

*- Когда Трубецкой взялся за памятник Александру III в Петербурге, ему долго искали коня, чтобы мог выдержать соответствующего натурщика. И вот в конюшнях лейб-гвардии конно-гренадерского полка нашелся конь «Воронеж», и его отдали Трубецкому. А в память о миссии, выпавшей коню, сняли с него подковы. И у меня эта подкова есть. / Потом среди старых фотографий его домашнего альбома я наткнулся на одну, где этот самый памятник будет лежать на боку на огромных санях, стоящих в проплешинах снега: «Он был брошен за Обводным каналом, и мы перевозили его американским трактором в Русский музей. Мне до сих пор жалко этого «изгнанника» - его надо поставить на место»/.*

**\*\*\***

У него есть папка «Птицы Михайловского», и там записаны всякие чудеса. О том, например, как ласточки замуровали наглого воробья, который без спросу перенес пожитки на чужую жилплощадь и решил, что он там будет жить-поживать. Хозяйка крикнула товарок, и воробей и носа не успел высунуть, как был замурован. И о том, как зарянка поселилась в консервной банке на кормушке и вывела там птенцов, которые, зная об опасности жилища, головы не высовывали: банка и банка. только пищит. А другая жила в кармане портков «ваньки-каина» - садового чучела, и Васясе шились на ноги мягкие сапоги, чтобы он не таскал птенцев.

- У меня есть три друга от природы, которые сегодня помогают мне в моей старой жизни. Это поползень, который целый день ждет в кустах и слетает под ноги, как щенок, ожидая семечек. Это мой Петя /38-й по счету петух/, который будит заповедник бодрой песней и идет утром поговорить со мной. И это мой Гуля. У меня было много голубей, которых я привозил из Москвы и отовсюду, но у меня сейчас есть та библейская голубка, которая прилетела в ковчег старика Ноя, чтобы возвестить об окончании потопа.

\*\*\*

- Каковы были главные русские музеи? В избе был домашний музей - красный угол, где хранились дорогие иконы, венчальные цветы, памятки рода. А в городе - церковь, куда каждый нес самое дорогое и перед кончиной вкладывал иконы, или посуду, или книги: «Помяни мя, Господи, егда придеши во Царствие Твое». А у царей - у каждого! - был свой сундук, где хранились их первые пеленки, первые цветы, первые бальные перчатки - все первое. И плюс то, что каждый оставлял первого России. У Елизаветы лежала печатка туалетного мыла, потому что до нее мыла в России не было - это благословила она. У Александра I - первая ученическая тетрадь, пошедшая потом по русским школам, и т. д.

\*\*\*

Дождь, такой, что, кажется, дом поднимется и вот-вот всплывет.

И это ощущение всплывающего так осязательно, что и тело уже не уверено - на земле ли? Ливень валит, нарастая, и это крещендо усиливает ужас. Надо закрыть окно. Дом сразу делается беззащитнее и уносится ливнем в грозное небо. Не оттого ли это неожиданное «мистическое» не то воспоминание, не то давно придуманное да не рассказанное сочинение:

*- Я много рылся в архивах и умел это делать. Мне давали на дом - верите, нет? - дневники Николая II и я до сих пор помню последнюю запись: «Неужели они опять начинают заигрывать с немцами?» Я перебрал все архивы гвардейских полков и однажды нашел там замечательный сюжет. Вы знаете, что Николай I каждую ночь обходил караулы. Их по очереди несли Семеновский, Преображенский, Измайловский полки. И каждую ночь влитый в мундир как перед приемом царь шел по покоям. И однажды случилось небывалое. В тронном зале, на его троне он увидел спящего пьяного капитана лейб-гвардии Семеновского полка, которым когда-то командовал Петр Великий. Царь толкнул преступника, тот открыл глаза и ничего спяну не разобрав пробормотал только: Чего тебе? Пошел отсюда!» Царь отпустил пьяного семеновца, завершил обход, и воротившись в кабинет, измыслил указ /Николай был человек не простой и тридцать лет в-о-о как держал страну!/ о списании сего капитана лейб-гвардии Семеновского полка из жителей Российской империи. Он лишился состояния, имени, паспорта, семьи, даже примет. Его увезли за Питер за красный кабачок у последней заставы и сказали: «Уйди!» И шел вчерашний дворянин, воспитанный в холе гвардии, в Сибирь, просил подавния, ночевал по сараям и гумнам. Он ветшал, но шел и шел на Восток, как было предуказано. Но из всех попадавших на его пути городов губернаторы должны были незамедлительно сообщать царю о состоянии преступника. И так миновал Кострому, леса*

*Вятки, предгорья Урала. И однажды в 1840-м году генерал-губернатор Екатеринбурга донес царю, что списанный из Отечества, безымянный человек умер в нищете под забором. Царь отдал распоряжение составить траурный кортеж и доставить мертвого злодея в Петербург, ко двору. Здесь он призвал архитектора и скульптора и велел изваять ему мерзавца. Злодей был изваян. Царь долго думал об эпитафии и наконец написал «Сердце мое чисто. Я прав перед тобой». Беспрецедентное преступление требовало беспрецедентного наказания -царь знал великий холод и метафизику власти.*

**\*\*\***

На веранде, кроме самоваров, много еще было разной разности срез тригорской ели-шатра, погибшей от осколков с датами рождения и смерти, колокола, ботала и бубенцы всех волостей, чайники да кофейники породистые и безродные, замки да ключи невиданной формы и всякая вещь с биографией, каждую только разговори. Подкову «Воронежа» мы уже видели. Жалко только любопытства у нас было мало повыспросить.

*- Когда известный парижский собиратель пушкинских вещей и рукописей Отто Онегин надумал умереть, он завещал свое собрание России и выделил фонд на служителей, которым надлежало присмотреть за собранием, а зная, что коллекции предстоит далекий путь в смутный Петроград, он заказал сделать огромные чемоданы, в которых мог ли бы поместиться два мужика. Чемоданы были хорошей кожи и прекрасной выделки о четырех ручках: две сверху /спереди и сзади/ и две по торцам. Когда завещание было вскрыто и воля покойного явлена в Петроград, Луначарский снарядил прекрасного пушкиниста Матвея Гофмана для возвращения национальных сокровищ в пределы Отечества. Матвей ехал в Париж, приговаривая грустные строки недавно прочитанного М. Кузмина: «Что значит «хлеб», «вода», «дрова» мы поняли и будто знаем, но с каждым часом забываем другие, лучшие слова...» и когда увидел, что в Париже лучшие слова помнят лучше, решил остаться. Но поскольку люди*

тогда еще помнили и об ответственности перед культурой, дело свое сделал с должной аккуратностью и описав собрание, препроводил его в онегинских чемоданах в свое недавнее Отечество. И рукописи пошли в отдел рукописей, вещи - в музей, а чемоданы, как имеющие к Пушкину касательство косвенно, умерли до срока в дальнем углу склада.

В апреле 1945 года молодой директор голой михайловской земли получил в приданое к этой земле и должности один из этих кожаных мастодонтов и покидав в его необъятное чрево несколько брошюрок с Постановлением Чрезвычайной комиссии о разрушении памятников Отечества, план Заповедника и пять литров спирта на засушные научные расходы отправился с работником Люськой Назаровой к месту исполнения. В Пскове они благополучно выгрузились и Люська была усажена глядеть за чемоданом Онегина и немецкой коробкой со жратвой, а директор пустился хлопотать в военкомате о машине. Когда он вернулся, Люська спала на немецкой коробке, а на месте чемодана зияло пустое квадратное пространство. Директор всласть повывражался и сделал глупую попытку пуститься на поиски. Комендант станции, выслушав его устрашающие слова о государственных документах и раритетах, вместо ответа привел директора в барак, вырытый немцами для каких-то надобностей прямо в земле за станцией /барак как от Михайловского до Савкиной горки/ и сказал только: «Смотри!» А чего было смотреть, когда только переступив порог они были сметены вонью, храпом, гвалтом, портянками, босыми ногами на нарах в два ряда. Дальше можно было не разговаривать. Этот Ноев ковчег мог переварить не один онегинский чемодан, а и директора с Люськой.

- Ей Богу, мне было завидно. Как они, должно быть, босые, что бы не разбудить Люську, наверное, вдвоем поднимали чемодан за белые ручки и на цыпочках рвали в развалины вокзала или в окрестный бурьян и там, дрожа от предчувствия /раз чемодан таков, то какво содержимое!/ вспарывали ему живот, потому что кружевные ключи

французского замочного рукодельника бессмысленно грелись у меня в кармане, и находили несколько бумажек и бутылку. Утешение было малое, но слава Богу его хватило на двоих. И Ноев ковчег долго наверно, ворочался и матерился, выслушивая обширный песенный репертуар, гремевший из окрестного бурьяна....

- А ключи те - вон, на веранде, поди посмотри.

\*\*\*

- В доброе старое время существовали такие книги - они назывались «книги брачных обысков» и мне все время хотелось узнать, как в них вносится «правило первой ночи», которое присваивали себе русские деспоты вроде какого-нибудь князя Львова, построивший соседний с Михайловским Алтун. Этот молодец, родственник автора русского гимна, любивший потешные армии, с которыми хаживал на Опочку и Новоржев и требовал ключей от города, мог бы составить эту армию из своих незаконных детей. А знаете ли вы, что неподалеку от Михайловского есть деревня Арапово и почему она так называется? А потому, милостивый государь, что прадед наш, опора пушкинского рода - большой был мастер по женской части. Но двигало им не праздное сластолюбие, а этническое любопытство, когда-то увлекавшее и Стефана Батория, уведшего в Литву множество русских девушек / так что если увидите в Польше знакомые названия - Воронич или Дедовцы - не удивляйтесь, значит память у девок не вовсе отшибло!. Вот и арап интересовался, какой народ он может произвести на свет и что за люди пойдут. Этим и воспитатель его, батюшка Петр Алексеевич не брезговал и крестнику уж и грешно было не усвоить батюшкиных уроков. Вот и появилось Арапово. И когда вас занесет в эту сторону, приглядитесь, - нет - нет да и найдет на вас чистый эфиоп. Об этом знал П. П. Кончаловский и ездил сюда рисовать этот народ, надеясь высмотреть тут корни пушкинского портрета. Где теперь эти этюды - Бог ведает.

\*\*\*

Послушал «Мертвые души» Р. Щедрина, ворчит:

*- Разве из этой оперы унесешь на губах свет мелодии, как при выходе из храма, когда уголек долго идет с тобой, пока не начинает гаснуть, гаснуть и не исчезнет вовсе. Да и голоса-то - черт знает что за голоса! Раньше ведь они не только в концертных залах выверялись. Где, например, меряли голоса петербургские консерваторцы? - в Исаакии, у Николы Морского - и там видели, долетает голос до свода или его только до хоров хватает. Да и духовное наполнение голоса сразу как на ладони - тут не спрячешься.*

\*\*\*

Да, а про генерала Мина, про несчастную семью-то его, о чем он в письме упоминал, я ведь слышал. Он вернулся тогда после доклада в Пушкинском музее в Москве о восстановлении Тригорского и весь был полон той встречей.

*- Вдруг слышу: «Здравствуй, Сеня!» И, как пушкинский пустынный «гляжу стоит передо мной старуха дряхлая, седая...» Кто же ты, думаю, такая. Ба-ба-ба, да это же Муся из петергофской гимназии. Вот это да!*

*- А у меня для тебя, Сеня, - говорит Муся, - есть расчудесное александровское бюро - в Тригорском как раз будет. Нарочно никому не говорила.*

*- Ну, пошли, - говорю, - Муся.*

*Зашли мы к ней, попили чаю. Муся, оказалась, прожила замечательную жизнь и вот сейчас на пенсии работает добрым человеком, помогая всяким троглодитам из бывших зеков, просто несчастливцам, кому нужна была пенсия, справка или трудовая книжка - Муся была ангел, каллиграф и подделыватель государственных бумаг.*

*- Где же бюро, Муся?*

*- Сейчас. Пойдем!*

*И мы подались дворами Сухаревки, где самая середина Москвы, но где оступившись с плитуара, попадешь в садики, домики, сирени и ставни. Проскрипев лестницей, Муся постучала в один из таких домиков и постучала так затейливо; там, там, тра-та-там!*

*За дверью пошел паровоз - там зашипело, тронулось, загремели засовы, застучали щеколды, зазвенели цепочки, пошел дым и явилось усатое лицо старой ведьмы, курившей одновременно десять папирос, кашлявшей, свистевшей и рокочущей басом: - А-а, это ты, Муся! А я думаю - кого черт принес. А, ты с гостем. Простите великодушно. Заходите.*

*Цепи пали, паровоз отошел. За нами опять загремело, застучало. Мы оказались в комнате. Там стоял старый николаевский диван уставший от задниц, грязи, одиночества. Он вздыхал там про себя и не мог дожидаться смерти. На нем лежал трубой старый облысевший ковер. На стенах плавала живопись, бледная, как поганки в погребке.*

*- Бюро вот, - вкрадчиво прошипела Муся.*

*- Ах, Муся, Муся, да ведь ты же видишь, что он вчерашнее и не старше нас с тобой.*

*- Я знаю, Сеня. Но нельзя ли как-нибудь помочь этому дому? - Муся носила свою добрую роль, не снимая.*

*Тут пропела дверь в соседнюю комнату и выпорхнула фея - бедный цветок Сухаревки - легкая, как привидение, девушка с высохшей на губах улыбкой. Бас из-за спины прогремел: «Это моя дочь. Пошла вон!» Фея пропала. -Девка рехнулась из-за своей живописи. Она оказалась дальтоником и кто-то из Суриковской школы воспринял это как комический предмет и высмеял ее, она и того ...*

*Дверь опять пропела. Явления следовали исправно. Сцена не пустовала. Молодой человек с талией белогвардейца сделал к нам марш-марш и щелкнул каблуками:*

*- Поручик Кутепов!*

*- Пошел прочь, дурак! - Это мой сын - дым повалил из-*

за спины гуще. Иерихонская труба стала делать комплименты Пушкину. - Мой муж имел к нему касательство. Однажды он даже написал статью об Александре Сергеевиче. Правда, не о Пушкине, а о Грибоедове.

И тут заговорил николаевский диван, вернее лысый ковер. Голос у ковра оказался совершенно беззубый и злой - Перестаньте мне наконец, твердить о Гриповетове. Он мерзавец, как и ваш Пушкин. Это ваш Гриповетов сочинил все это безобразие и покибель, этот сумашедший дом и этот плен, и эту мерсость.

Ковер был парализованной старухой, завернутой для тепла и ему было 90 лет и живое в нем было только беззубый рот и хулительные речи. (И это-то и была жена генерала Мина, подавлявшего восстание на Красной Пресне - В. К.).

- И знаете, я подумал, - вот раскололся мир и осколки затягиваются травой на Сухаревках, Сретенках и Разгуляях, а виноваты в этом действительно Грибоедов и Пушкин. Не смейтесь, я серьезно говорю. Вот ведь штука какая получается...

\*\*\*

- Надо объявить всесоюзный розыск Святогорской Божьей Матери. Это была маленькая ядичная икона. С нее есть плохая, ничего не говорящая фотография. Она ушла из Святых гор в 1920 году, когда умерщвляли монастырь и вновь появилась в 1944, когда немцы уже уходили. Шли бесконечные бои и святогорцы молили Божью Матерь о спасении. Непрерывный молебен шел на ступенях Успенского собора пока не ахнула в свод церкви авиабомба ростом с вас и ... не разорвалась... Тогда помертвевшие от ужаса прихожане, оторвав чело от плит, увидели белый плат и подняв его, нашли там родную святогорскую Богородицу. Тут же был отслужен благодарственный молебен и Она воздвигнута в храме, но когда наутро молящиеся пришли к ранней обедне, они уже нашли ее. Это рассказ первого послевоенного

*секретаря райкома Тиманова.*

Надо было обживать новый Ганнибалов дом в Петровском. Потихоньку съезжалась мебель. Никак нельзя было найти только фисгармонию для Вениамина Петровича. И вот она, наконец, нашлась. Семен Степанович съездил к обладателю и воротился без фисгармонии.

*- Была жизнь, были господа, живущие своими домами, и мебель жила в них общей домашней жизнью: перед туалетными столиками пудрили носы и прилепляли мушки, в бюро хранили бумаги, в секретерах - интимные пустяки и любовные записки. Но вот жизнь рухнула, и господа побежали, оставляя мебель в надежде, что это не может долго продолжаться, что они воротятся и найдут все в целости. Но все продолжалось и продолжалось. И из укромных щелей вылезли накопители как вороны на падаль, кинулись на мебель и растащили по гнездам. Надо сказать, мебель вначале яростно сопротивлялась, подставляла углы, дергала за полы, рвала чулки, старалась побольнее ударить. Тогда ее стали укрощать. В нее напустили клопов, развели древесных точильщиков, рассовали по секретерам банки с консервами, в туалетные столы сунули ржавые гвозди с отвертками. Мебель смирилась и начала распадаться и подлеть. Но тут оказалось, что на нее мода. Накопители переименовали себя в коллекционеров, освободили ящики от консервов и начали подольщаться к вещам. Те вылезли из темных углов, поотмылись и стали покрикивать: «А помнишь? А вот в наше время...», но воспоминания их уже успели стать лакейскими, так что человеку, вздумавшему вернуть их к жизни, надо годы потратить на их перевоспитание. Да ну ее к черту, эту фисгармонию!*

\*\*\*

День синел, сверкал, ликовал. Под проточенным льдом к Сороти торопились ручьи. Белые матовые монеты воздуха текли подо льдом в каком-то одушевленном порядке. Вороны атласно, тускло сверкая летели над полем, и когда пролетали над головой, воздух от крыльев был как вздох или как внезапный

громкий неразличимый шепот. Вороны садились на тонкий лед и, пробив его, деловито пили, поглядывая по сторонам. Скворцы были черны, изумрудны, молоды - совсем не те запыленные, усталые, постаревшие, какими будут осенью. Уже готовился очередной Пушкинский праздник.

*- Кого вы считаете сейчас настоящим поэтом? Я думаю, что, может быть, последним был Ярослав Васильевич Смеляков. Это был большой поэт. Однажды мы с ним подрались. Да-да. Он пришел как-то во время Пушкинского праздника, «Дайте, - говорит, - попить или выпить - все равно чего.» Я дал. Он хватил водки, и мы разговорились. И я говорю: «Как вам не стыдно! Что вы такое написали про Наталью Николаевну? Будь жив Пушкин, он бы давно вас застрелил, потому что обычный кодекс чести предполагал, чтобы твою жену не полоскали по ветру. - А что, разве не правда? - Не знаю, - говорю. - Правду знал один человек, которого Пушкин пригласил за день до смерти, чтобы исповедаться перед переселением в неведомый мир, куда надо приходиться чистым, но этот человек знал свои обязанности и унес эту правду в могилу. А что же, - говорю, - вы-то с поэтом так обращаетесь?» Ну, тут он завелся и толкнул меня. Тогда я ему сразу -бац! справа здоровой рукой. Хорошо, влетела жена. Потом появилось его стихотворение «Извинение перед Натальей». Иногда пушкинисту нужны и такие аргументы.*

\*\*\*

*- А однажды у нас обедал генерал генералов. Днем явился браваый капитан и известил что «они» желают осмотреть Михайловское, но чтобы нигде никого. И еще они желают отобедать в уединении. Капитан пошел размечать флажками таинственную площадку, освободить кафе и водружать там единственный столик в крахмале, цветах, бутылках, яствах и питиях. Моя публика, знающая толк в гостях и умеющая классифицировать их с профессиональной цепкостью, пошла заглядывать, а один монстр явился и изъявил желание*

увидеть, как будет кушать генерал генералов. Я послал его... Тогда он сказал, что у него идея. «Никаких идей!» - заорал я, но он уже исчез.

Ровно в двадцать ноль-ноль затарахтел мотор, с неба пал на зафлаженную площадку вертолет, и явился «сам». «Где тут это?... М-да...» Я приплелся на ватных ногах: «Милости просим». «Ну давай тут показывай, только у меня времени тридцать минут». Я постарался умягчить генеральскую душу, убрать цветами его сердце, дать посмеяться и подумать и был за то зван к столу, от какой-то чести должен был отказаться, поскольку давно не пил, а откажись-ка от генеральской чарки... «Ну хрен с тобой!» - пробурчали генерал-генералов и отбыли вкушать своей «анисовой». И вот тут-то через поляну и зашагал мой монстр, ведя под уздцы мерина, как бы по крайней хозяйственной надобности, и, встав спротив генерала, возопил: «Здра...жла, тариц аршал Сов Суза!»

- Ну, здорово! Служил?

- Так точно!

- Где?

- Н-ской части, такого-то полка и звания, - хватил мой болван.

- Пьешь?

- Так точно!

- Ну, на!

И молодцу моему был налит стакан, который и был выпит во здравие генерала генералов. В этом и состояла идея - здоровая и удачная, как все идеи моих сослуживцев.

А нужен ли Пушкин генералам? Чтобы проверить, надо снять их фуражки, штаны с лампасами, и тогда они никакие не генералы, и можно говорить о Пушкине, и тут ты и сам себе генерал и Горюшкин-Сорокопудов...

\*\*\*

- Ко мне часто приезжают пушкинисты показать очередную работу на тему великой реплики из «Бориса» «народ безмолвствует». Понятно, что они приезжают сюда - ведь Пушкин увидел и понял этот «безмолвный» народ здесь. А меня занимает там другая ремарка - «палач готовится». Палача-то откуда Пушкин взял? А отсюда же. У нас тут жил породистый кат в деревне, которая так и называлась Каты. И Пушкин был у него, встречался и говорил, чтобы понять психологию сословия, которое было призвано в соответствии с распоряжением начальства сделать вам чик! - и до свидания. Это уже Александр I создал комиссию для упразднения института палачества, и этой штатной единицы в губерниях не стало. А Пушкин застал...

\*\*\*

Пауки перебрасывают через дорогу легкие нити, но добычей их становятся только машины, да изредка порвет эту незримую серебряную ленточку человек и долго снимает паутину с лица, будто умывается. Утка разнимает утят, как рефери на ринге, строго прикрикивая «брэк»!. Зяблик еще с ночи не свистит, а рюмит, суля дождь. И скоро листва взьерошивается перед грозой, потом вздрагивают и трепещут кусты и наконец безмолвно вскипают травы...

- В 1939 году на Воронице закрывали церковь. Я приехал от Пушкинского дома. Увез только регистрационные книги попа Шкоды, а в углу - никогда не забуду - битком до потолка поминания «во здравие» и «за упокой»: и кожаные, и тряпочные, и бумажные. С XVIII века, с суворовских походов. Сколько тут, в этих и поминаниях, было павших, болящих, живых, стоявших здесь в Троицкую родительскую субботу. Это и был народ, и чувство народа, и ответ перед ним, и сознание непрерывности жизни.

\*\*\*

- А однажды мы шли - еще так недавно - с одним из моих старых еще петергофских знакомых по Невскому, и он

вдруг и говорит: «А ты знаешь, что вот тут живет священник нашей Знаменской церкви отец Константин Быстревский, который тебя крестил. Зашел бы. - А чего, - говорю, - пойдем вместе». Зашли. Он долго не открывал. Глухой, живет один. «Батюшка, - говорю, - отец Константин, благословите. Гейченко я...» А он спокойно говорит: «Вижу, Гейченко». И мы рассказали друг другу, что с нами делала жизнь. Его ссылали три раза /последний в 1939 году/. «И однажды, - говорит он, - меня вызвал начальник лагеря: «У меня умирает дочь. Я все перепробовал. Ты тут ходишь про Бога бормочешь. Давай доказывай Его силу. Спасешь дочь - паспорт твой, денег тыщу, в Ленинграде на Невском пропишу. Нет - пойдешь в расход!» Бац дверью; ушел. А мне что - дальше смерти не пошлет. Я молился не потому, что шкуру жалко было. Чего она стоит в лагере, а все же человек живой. Проходит недели две - является. Веселый. «Ну, спасибо, отец!» Кричит в дверь: «Заходи» Является ординарец с подносом - паспорт, деньги, билет. Вот живу...»

\*\*\*

- Я очень разочаровался в социализме. Так верил, так радовался, когда работал, придумывал. А человек остался вероломен, лжив, коварен, зол, как был. Ленин говорил, что для преобразования России нам нужно сто тысяч тракторов. Сейчас у нас их миллионы, а где же преобразование-то. Нет, можно всех накормить, одеть /хоть трудно, но можно/ даже и в меха и брильянты, а вот тут /рукой в грудь/ так быстро ничего не меняется. Тут даже наоборот - все к последним вменам, всему пришел край...

- Если бы не Пушкин...

\*\*\*

«...Если бы не Пушкин...»

Они теперь так и останутся для знавших Семена Степановича неразделимы. И не в одном Михайловском. И наше дело - понять загадку этого единства, чтобы памятью и

пониманием продлить в Заповеднике след этого животворящего согласия, взаимное окливание поэта и хранителя, хозяина и «домового».

Я вполне понимаю «странность» многих рассказов и «далековатость» их от пушкинского быта и круга, вполне вижу и их «опасную свободу» от исторической точности /храни Бог кого-нибудь искать документального подтверждения «рескриптам» Абрама Петрова или «дневникам» попа Шкоды, напечатанным в Гейченковском альбоме «Пушкиногорье»/. Но почему-то мне кажется, что не только знавшие Семена Степановича люди, но и читатели вот этих страниц не будут задаваться вопросами о соответствии, если только они действительно любят Пушкина и разделяют с Блоком убеждение, что это «веселое имя». В радости и свободе нельзя убеждать, ими надо жить. И все записанные здесь истории и воспоминания при всей «далековатости» есть все-таки заметки на Михайловских полях и полны именно здешними небесами и здешним светом. Они счастливо подтверждают, что ни случайных знаний, ни случайных событий в верно прожитой жизни нет, что настоящее призвание всему умее найти должное место и в самой внешне хаотической реальности увидеть тайные связи, собирающие «опилки» быта в стройный рисунок ясной судьбы. Сложность только в том, что нам трудно сразу прочесть этот рисунок, потому что у нас разное представление о стройности и ясности.

Растерянное молчание, последовавшее за смертью хранителя, обнаружило всю глубину этой сложности и всю смятенность нашу перед целостной жизнью, которая оказалась тревожным и вопросительным феноменом - что это было?

Ответ только предстоит искать. И хорошо бы делать это поскорее, пока все сделанное директором еще перед глазами, пока Михайловское еще хранит его интонацию, пока письма его не рассеялись в домашних архивах, а рассказы не заслонились быстротекущей жизнью, пока и сам он еще хранит «селенье, лес и дикой садик» - весь ненаглядный мир, где он прожил с Пушкиным полстолетия. Теперь, когда его нет,

особенно видно, как много здесь было от него самого и как это было по-пушкински верно и живо.

Есть горькая справедливость в том, что они лежат неподалеку друг от друга - один на Святой горе, другой на Воронице и один ветер шумит и шумит в кронах осеняющих их последний приют деревьев.

*Псков*

*Михайловское.*

†  
"Государю моему Валентію Яковичу  
Семенику Емкинскому вѣдомъ бѣе  
Буди государь здоровъ на многіе  
лѣта пожеалуи АМѢЕ многогоре  
щному приказеи какому  
грамотѣю описати о своемъ  
многогортнѣствѣ зъ рабѣи како  
пѣбу преступна моего жъ  
милуѣствѣ и какіе свѣтае  
образѣ и гѣла за послѣднѣ  
дѣи тѣ описалъ свѣтми  
букви. А мѣ о гѣвѣмъ  
многогортнѣствѣ зъ рабѣи

слѣдѣти, всегда услаждѣ  
и у Господа нашего просимъ  
Подаи Господи.

Государю моему Валентину  
Яковлевичу да прійдетъ  
благословѣнъ къ нему и  
хозяйкѣ его и гачу ихъ  
Аминь.

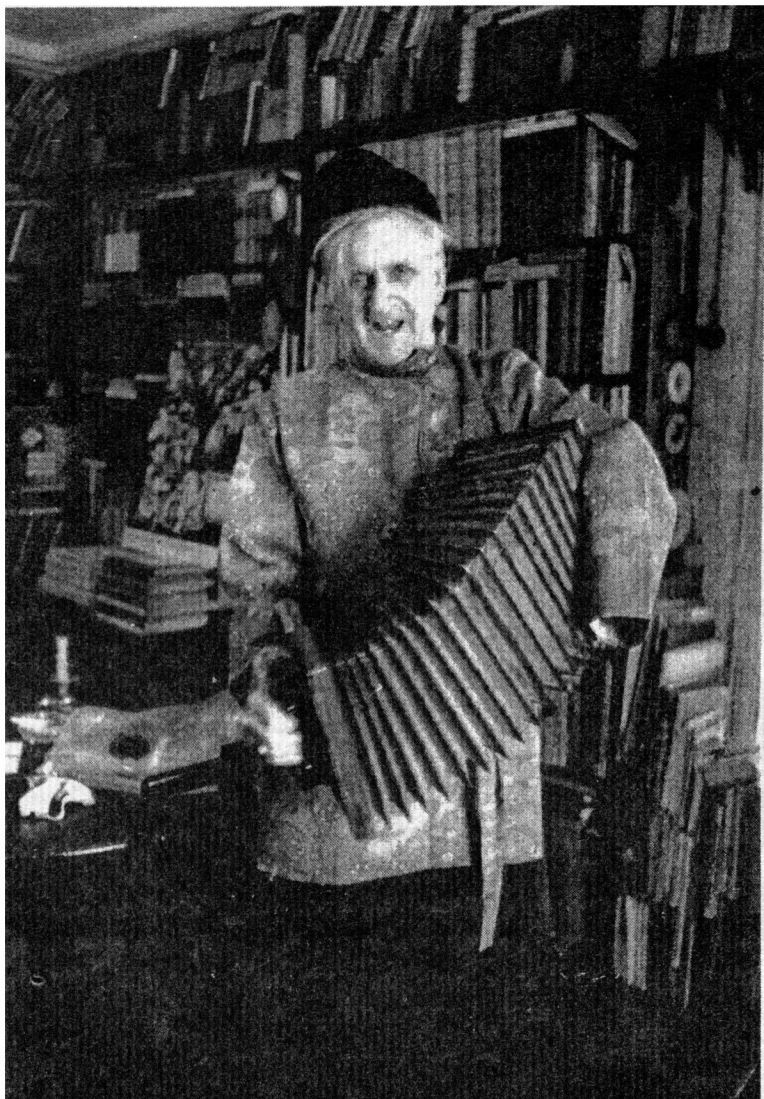
Пошла грамотка сію  
Марта 27 день лѣта.

7488 Семейковъ

Семиковъ

Иванъ ~~Иванъ~~ или Сабитовъ и Рязань.







Учебное издание

Валентин Курбатов  
Домовой

Семен Степанович Гейченко. Письма и разговоры.

Серия «Пушкинский урок»

Под редакцией В.А.Сапогова

Ответственные за издание В.А.Трофимова, Л.А.Иванова

Сдано в набор 3.02.96.

Подписано в печать 13.05.96.

Печать офсетная. 2,0 п.л.

Тираж 3000 экз. Заказ № 1125

Оригинал-макет подготовлен в издательстве ПОИПКРО  
(180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 14, к. 206)

---

Тиражирование - в издательстве «Курсив»  
1800015, г. Псков, ул. Коммунальная, д. 19.